

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алловити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Аделы
- Отражение Беатриче
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Ты мой ненаглядный!
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина
- Сады небесных корней

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА МУРАВЬЁВА

САДЫ НЕБЕСНЫХ КОРНЕЙ

В романе нет ничего случайного. Всё то, что может показаться орфографическими, пунктуационными, грамматическими, речевыми, фактическими, стилистическими ошибками, таковым не является.

Это намеренные особенности данного текста.

Ирина Муравьёва



МОСКВА
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М91

Художественное оформление серии
Андрея Старикова

Муравьева, Ирина.

М91 Сады небесных корней / Ирина Муравьева. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 288 с. — (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой).

ISBN 978-5-699-99627-8

Новый роман Ирины Муравьевой «Сады небесных корней» — роман-фантазмагория, веселый и напряженно-духовный, пародийный и откровенно-возвышенный, в котором обращения к Ветхому и Новому Завету сливаются с песней «Катюша» и русскими романами, — неожиданная и по-своему провокационная страница в ее творчестве. Муравьева пишет рискованно, работает с помощью сильных электрических разрядов, ее не отпугивает ни глубина библейских притч, ни открытая «телесность» и эротика многих сцен. Роман о зародившейся в тени виноградника земной любви между мужчиной и женщиной, от главы к главе набирая свою силу, становится романом о неиссякаемой любви матери к своему ребенку.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99627-8

© Муравьева И., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ГЛАВА 1

ПОХИЩЕНИЕ

Никто не уверен в том, что мать Леонардо была итальянкой. Напротив. Семьдесят процентов специалистов склоняются к тому, что она была родом из Азербайджана, но с русскими корнями. А в Италию попала исключительно потому, что сдалась в плен. Многие тогда сдавались в плен, поскольку иного выхода не было. В Италии ее сразу же переименовали в Катерину, хотя настоящим именем невольницы было простое, но звучное ближневосточное имя: Зара. Точнее, Захра. А если совсем уже точно, то вот как: Захра Кехкамал аль Кигиз. По отцу. У маленькой Зары так, как и у всех, был в жизни отец. Суровый и складный, с солидным лицом. В семье его звали Кемалом, но в метрике записано так: Кехкамал. А Кигиз был Зариным дедом, но умер в младенчестве, никто его толком не помнит. Отец Кехкамал обладал обилием жен и детей. И вот вам загадка: как это случилось, что дочка такого отца — и богатого, и в меру приветливого, и делового — вдруг стала рабыней? Мне кажется, в этом во всем виновата служанка Нахраби. Веселая, толстая и косоглазая, она заморочила голову даже Кемалу Кигизу. А он любил

дочь. Он очень любил. Среди быстроногих детишек в гареме она выделялась особенной нежностью.

Наевшись поутру лепешек, Нахраби будила ленивую Зару и шла, болтая без умолку, в город на рынок. А там, пока Зара, расширив зрачки, стонала от вида браслетов и тканей, Нахраби, чертовка, из-под покрывала мигала торговцам косыми глазами. Хотела устроить на старости лет себе тоже личную жизнь. А рынок — ведь это же ад. Среди криков, среди пряных запахов, гнили, кувшинов с кумысом и просто кувшинов, которые выставлены на продажу, среди опahal, овощей, слегка окровавленных туш убиенных ягнят и козлят, серебрящейся рыбы — короче, всего, чем питаются люди, во что наряжаются, чем украшают жилища, забыв, что *туда* не возьмешь ни миски, ни чашки, ни пухлой подушки, так вот: среди рынка — нахально, открыто — гуляют и старые, и молодые враги человечества бесы. Прижавшись слюнявой бородкой к затылку какой-нибудь домохозяйки, вливают ей в мозг свои гадкие речи, и женщину, не испытавшую счастья, склоняют они на грехи и предательства. Вернется она в свою саклю, и станет ей, бедной, казаться, что лучше мерзавку Аиду самой отравить, чем вечно терпеть, как хозяин и муж, отец дочерей ее и сыновей, нафабрив усы, отправляется вечером «проведать вдову и помочь ей с хозяйством».

Моя, впрочем, версия очень проста: увидел какой-нибудь работороговец смущенную Зару с косой, перевитой атласною лентою и пересыпанной блестящими

камешками, да смекнул, что надо хватать, пока кто-то другой ее не заметил среди шумной торговли. Все произошло за секунду: нагнувшись с седла, он сорвал покрывало с ее белокурой склоненной головки, продел свои жадные руки под мышки ее тонких рук, и испуганный люд увидел, как девушку, словно лозу, покрытую всю виноградом, сломало, мелькнули босые ступни, кусок шеи, раскрытые губы, и лошадь сначала взвилась, вздула светлую пыль, но тут же исчезла, как будто растаяла в пронизанном золотом воздухе.

Вот так началось ее рабство. Сначала, конечно, был Константинополь. Захра закрывалась платком, рукавами — но разве такое лицо можно спрятать? Оно же светилось, как плод золотистый, мерцало, как жемчуг мерцает сквозь воду. Сидела, вся сжавшись, ждала своей участи. Сейчас нам почти невозможно представить: на рабовладельческом рынке, в повозке, заплаканная, после долгих, бессонных, безлунных ночей, под недремлющим оком какого-то грязного работорговца сидела та женщина, чей хрупкий облик, как нас уверяют работники разных известных музеев и частных коллекций, *он* запечатлел на полотнах! Уму просто непостижимо. И сердцу.

Много было на нее желающих, очень много. И даже то, что девушка мусульманка, никого не останавливало. Народ-то вокруг переменчивый. Был, скажем, сперва иудей, а потом вдруг стал православный. Или наоборот. А все оттого, что нет в сердце людском серьезного чувства. И я даже больше скажу:

и вера-то мало в ком есть. Ее, как всегда, подменили на споры. Разборки пошли: «А, так ты иудей? Куда же ты с носом своим иудейским пришел в православный наш храм? Помолиться? А ты в синагогу иди и молись! Сперва революцию тут совершили, распяли Христа, а теперь помолиться?» Не меньше упреков с другой стороны: «Ты, значит, крестился? Так ты теперь *выкрест*. А выкрест по-нашему значит *прохвост*».

Ах, люди вы, люди! Да вы оглянитесь вокруг! Что видите? Дерево. Куда оно тянется? К облаку, к небу. И вы бы подняли глаза, да повыше. И стойте тихонько, смотрите на небо, на белое облако. Не торопитесь.

Стремящихся приобрести нашу Зару скопилось у этой повозки штук десять. А может, и больше, всех не сосчитаешь. Но работорговец гнусавил одно: «пятьсот золотых». Это даже сейчас огромные деньги, а в те времена можно было купить за них кучу девушек, а уж мальчишек — такое количество, что не прокормишь. Скажу вам, что эта цена превышала и цену на финских подростков. Они были редкостью, роскошью, чудом. И чтобы достать их, пускались на хитрости. А если кому повезет и на рынке появится белое-белое, с глазами прозрачнее льда существо — то тут начинались такие торги! Могли и шестьсот золотых попросить. И это за мальчика! А уж за девочку — пускай кривоногую, с красными пятками, но чтобы была белобрысой, бесцветной, безбровой, а если откроешь ей рот, то чтобы и небо ее было белым, — за девочку-финку,

латышку, эстонку давали по тысяче и не жалели. Да, странные вкусы и странное время. Конечно, скажи этот работороговец, что Зару он может отдать за четыреста, схватили бы тотчас, но он заартачился: пятьсот золотых, ни копейки, ни меньше. А как унижали ее! Выводили на красный истертый ковер, говорили: «А ну подними покрывало, малышка!» Она поднимала. «Шальвары сними!» Снимала шальвары, стояла в одном прозрачном халате, горела от ужаса. И как появился старик, не заметила. А он к ней и близко-то не подошел. Не щупал, не мял, даже груди не тронул. Отдал все пятьсот и кивнул головой: «Ведите на лодку!» Потом обернулся: «Накройся, девица!» Тогда она, как говорят, села прямо в базарную пыль и лишилась сознания.

Пришла в себя на каравелле. Вокруг одна синева, темно-синие волны. На ней покрывало, прилипшее к телу, и рядом тот самый старик. Ест Зару глазами, руками не трогает.

В манускрипте «Сады небесных корней», датирующемся серединой шестнадцатого века и только недавно обнаруженном в одной из пещер под Миланом, описан такой разговор.

— Как тебя зовут, девица? — потресканным от пережитого басом спросил он.

— Меня зовут Зарою.

Беседа их шла на арабском.

— Никто и не вспомнит о том, что ты в муках дала ему жизнь, — объяснил ей старик. — А ну, улыбнись мне.

Она улыбнулась.

— Да! — Он почесал свою левую бровь. — Везде будет эта улыбка. Что делать! Пускай их гадают, на то они люди! Но ты будешь долго рожать его, долго!

— Как долго? — спросила испуганно Зара.

— Дня два или три. Меньше не получается.

— На то, значит, воля Аллаха. Что делать. —
И Зара опять улыбнулась.

— Ты видишь, какое здесь бурное море? Судьба его будет похожей на море.

— Так в море ведь тонут! — шепнула она.

— Кто тонет, красавица, кто выплывает... Чем больше душа, тем труднее. Запомни.

И, словно обугленной, легкой ладонью коснулся ее головы.

ГЛАВА 2

ДОБРАЯ ПРИХОЖАНКА

Деревня была небольшой, не более двадцати домов. Холмы, покрытые виноградником, извилистая река. В центре деревни — белая, как голубь, прошлым летом заново отстроенная церковь. У деревянной Мадонны — детское лицо с выпуклыми полуприкрытыми веками, уголки рта опущены. Скорбь застыла в небесных чертах Ее, и женщины под черными покрывалами тусклыми огоньками свечей освещали полуприкрытые веки, тонкие, удлиненные пальцы с чуть приподнятыми кончиками и не давали свечам своим погаснуть ни днем и ни ночью.

Катерина, о которой в деревне знали только то, что привезена она была из далекого Константинополя на невольничьей лодке — причем остальные семеро невольников умерли в дороге, а она чудом выжила, хотя долго болела, лежа на соломе в прохладном, пахнущем зерном амбаре, и ее навещал настоятель ближнего монастыря отец Антонио, который проникся к ней жалостью и, не ожидая, что девушка поправится, окрестил ее, так что с разворошенной соломы поднялась она уже христианкой, —

эта худая и скромная Катерина приходила в церковь по вечерам после работы. Жила она в доме хозяина, про которого в правдивом источнике «Сады небесных корней» почти ничего не сказано. Злые языки утверждали, что он перекупил ее по дешевке, потому что никому не нужна была больная и умирающая работница. Он не только перекупил ее (опять-таки если верить слухам!), он дал ей свободу, и она жила у него в доме на том вон высоком холме, где тень виноградников кажется синей, как все остальные свободные девушки. Не бедствовала, не нуждалась. Болтали, кстати, в деревне, что золотоволосая и черноглазая Катерина потеряла свою девственность еще на лодке, поскольку странствие по открытому морю продолжалось много дней и ночей, а никаких других удовольствий, кроме любовных, в те времена не было. Морские условия, скудная пища, ни радио, ни телевизора. То, что она была светловолосой при своих черных, с поволокой, глазах, запомнили все, и в «Садах небесных корней» сказано: «закрывая лицо светлыми волосами, смотрела сквозь них она, как на рассвете пылал этот бархатный красный берет, как он становился все дальше, все меньше и вскоре исчез окончательно».

Возникает подозрение, что матерью Зары была православная русская женщина, курносая, широкоскулая, с веснушками на переносице и светло-пшеничного цвета косой. К тому моменту, когда дочку его по нерадивости болтливой Нахраби украли прямо с рынка, все жены Кемала весьма были живы и

очень здоровы. Одной только не было: матери Зары. Вполне может быть, что какая-то дикая, ревнивая до отвращения наложница зарезала эту чудесную женщину, за день или два до того подарившую Кемалу Кигизу младенца. Наверное, так все и было: прокрадась дикарка-наложница в спальню, где мать, улыбаясь лукавой улыбкой, качала дитя, и кинжалом убила ее прямо в сердце. Когда же ворвался туда с диким ревом Кемал, то она, православная, с пшеничного цвета косой, умирая, его осветила на память все той же спокойной, немного лукавой улыбкой. Затем и скончалась, испачкав своею невинною кровью турецкий ковер. Все это, конечно, догадки, навеянные одной широко знаменитой поэмой, — но кто мне ответит, откуда у дочери такие волнистые светлые волосы?

Итак, Катерина (отныне мы будем ее называть только так!) жила в большом доме, поместье, точнее, и принадлежал он тому человеку, чье имя теперь никому не известно. В «Садах небесных корней» о нем не сказано ни слова. Может, он спас ее просто из жалости, из жалости дал ей свободу, а вскоре всмотрелся да и возжелал? Через месяц после выздоровления она пришла в церковь, где все так и ахнули. Светлые, струящиеся по плечам волосы были перехвачены атласной лентой, и сквозь бледно-серого цвета накидку просвечивал каждый ее волосок, и виден был тонкий пробор, словно след, оставленный птицей, прорезавшей воздух лучистым крылом. По обычаю времени на Катерине было два платья:

нижнее, белое, шелковое, присборенное у плечей и обшито по подолу мелкими жемчужинами, и верхнее — темно-голубое с коричневыми бархатными полосами на груди. Свисали, к тому же, жемчужные серьги почти до ключиц. Она с тихим достоинством поклонилась собравшимся и прямо подошла к скорбной Богоматери, опустилась на колени и, закрыв глаза, о чем-то долго молила Ее, не меняя своей склоненной позы и ничего вокруг не замечая. Когда служба подошла к концу, Катерина рванулась, чуть было не опрокинув на своем пути пожилую, всеми уважаемую матрону, которая, если поверить источникам, приходится бабкой, а может, прабабкой покойной Терезы, всемирно известной беззубой святой, почившей лет десять назад где-то в Индии. Она оттолкнула матрону и тут же сокрылась за бархатной шторкой.

— Дитя мое, — тихо сказал ей поникший отец Бенджамено, который в то время служил настоятелем. — Мне трудно поверить тому, что рассказы твои соответствуют жизни.

— Все правда, — вздохнула она. — Нет пути мне в Небесное Царство. Слаба моя плоть.

— Тогда расскажи еще раз, Катерина, какое видение было тебе на лодке невольников. Как выглядел призрак?

— Отец мой! — она возмутилась с горячностью. — Зачем вы его называете призраком? Ведь он говорил громким голосом, он ведь отер мои слезы! И руку я помню, и перстень на пальце.

Священник опять помрачнел.

— А перстень был черным, дитя? Ты не помнишь?

— Все помню! Из темного золота, с камнем, огромным и черным, как ночь.

— Плохие дела, — он поник удрученно. — Известия, им приносимые, часто сбываются в будущем. Какого же сына предрек он тебе?

— Сперва он сказал, что меня все забудут. Потом, что я буду рожать его в муках. И что-то еще про улыбку... Не помню.

— Улыбка твоя удивляет людей. — Священник вздохнул. — В ней много лукавства, но много и грусти. Взгляни, как вокруг улыбаются люди: открыто и весело. А ты даже губ своих не размыкаешь. Тревожат ли мысли тебя, Катерина, о вере, в которой взрастили тебя?

— О вере моей? Нет, она умерла, как умерло имя, какое мне дали. Другое тревожит меня... И так страшно, отец мой!

— Тогда говори до конца.

Если бы кто-то увидел в эту минуту лицо настоятеля, то он бы поразился произошедшей в нем перемене: отец Бенджамено Витторио стал похожим на старуху — любопытную, болтливую старуху, которая в воскресный полдень открывает ставни своего дома и с жадностью вслушивается во все, о чем говорят прохожие на улице, благо окна ее находятся на первом этаже и жимолость, обвинившая их своими белыми цветочками, ничуть не мешает.

— Все-все говорить?